

Юлий Айхенвальд

Белинский



Юлий Айхенвальд
Белинский

«Public Domain»

1913

Айхенвальд Ю. И.

Белинский / Ю. И. Айхенвальд — «Public Domain», 1913 — (Силуэты русских писателей)

ISBN 978-5-457-13361-7

«Белинский – это легенда. То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно. Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза, – но все это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и беспрестанных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частностях, так не соблазнял малых и немалых сих, как именно он. Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него слишком обильной неправдой; свойственна ему интеллектуальная чересполосица, и далеки от него органичность и дух живой системы...»

ISBN 978-5-457-13361-7

© Айхенвальд Ю. И., 1913

© Public Domain, 1913

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

9

Юлий Айхенвальд Белинский

Белинский – это легенда. То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно. Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза, – но все это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и беспрестанных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частности, так не соблазнял малых и немалых сих, как именно он. Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него слишком обильной неправдой; свойственна ему интеллектуальная чересполосица, и далеки от него органичность и дух живой системы. А то, что в самой правде своей был он так изменчив и неустойчив, – это подрывает даже ее. Его неправда компрометирует его правду. Белинский ненадежен. У него – шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница в его книге не отвечает за другую. Никогда на его оценку, на его суждение положиться нельзя, потому что в следующем году его жизни или еще раньше вы услышите от него совсем другое, нередко – противоположное. У него не мирозерцание, а мирозерцания. Живой калейдоскоп, он менял их искренне, но оттого не легче было его читателям; и в высокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам. Неровный маятник его легкомысленных мыслей описывал чудовищные круги; учитель убеждений расшатывал убеждения – тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион-Отступник сокрушается иногда о своей изменчивости, о своих «прыжках»; но перед аудиторией, в печати ему случалось даже выговаривать тем, кто однажды навсегда составил себе определенные мнения. Желанную динамичность духа, вечное движение, вечное искание он смешивал с непостоянством и непродуманностью коренных принципов. И оттого, в пестром наследии его сочинений, в их диковинной амальгаме, вы можете найти все, что угодно, – и все, что не угодно. Рассудок несамостоятельный, женственно воспринимающий, слишком доступный для всяких теорий, сплошной объект и медиум влияний, Белинский слушал и слушался, и у него нечего было влияниям противопоставлять. Он не имел своего *a priori*; он другим не предпослал себя. Он был доверчив, этот критик без критики. Были присущи ему не идеи-силы, а идеи-гости. Человек без духовной собственности, «нищий студент», всегдашняя *tabula rasa*, он никогда не был умственно-взрослым; по его натуре, переимчивой и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, – и в этом состояло тяжкое недоразумение его литературной судьбы. Или, лучше сказать, он учился на людях, на глазах у своих учеников; он читал для того, чтобы написать, читал наскоро, и за его страницами не чувствуешь долгой работы и умственной уединенности, часов накопления. Именно потому он всегда – временный, и каждой мысли, каждой дамы он – рыцарь только на час. Он чужд той непосредственной духовной цельности, того сокровенного мировоззрения, того инстинкта правды, которые уже сами по себе, предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью. У Белинского подобного ангела-хранителя не было, ядро истины в нем не таилось, его бессознательное начало не было лучше его сознательного, его перо не было умнее, чем он сам, и не однажды впадал он в такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование, увлечением и способностью каждое теоретическое верование доводить до его последних практических результатов объясняют нестерпимую реакционность его статей о

Бородинском сражении; но это нисколько не оправдывает отсутствия в Белинском того органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души, и особенно для души молодой. Задолго до упомянутых статей, при первом же своем серьезном выступлении, как критика, в знаменитых «Литературных мечтаниях», после декабристов, в тяжелую и темную пору нашей жизни, когда все переловое в ней действительно изнывало под гнетом грубой власти, – юноша Белинский, не задумываясь, делается рапсодом формулы «православие, самодержавие, народность» и поет умиленные, восторженные гимны «царю-отцу», «чадолюбивым монархам», «русскому мудрому правительству», «благородному дворянству», «знаменитым сановникам, сподвижникам царя на трудном поприще народоправления»; и потом эти панегирики самовластию и «просвещенному и благодетельному» правительству не умолкают, а усиливаются и громкими фанфарами звучат на всем протяжении его статей и некоторых писем. Из отношений Николая I к Пушкину Белинский помнит лишь то, что «венценосный Отец народа» в умирающего поэта «своего» «пролил отраднейший елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев его сердца»; и в глазах русского критика русскому народу, в его «теперешнем состоянии», гибельна конституция, а нужна еще «нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; и у нас «все идет к лучшему», а причиной этого – «установление общественного мнения... и, может быть, еще более того самодержавная власть», которая «дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела»; блюсти цензуру и не допускать перевода некоторых иностранных книг, – «это хорошо... потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик». В прославленном письме к Гоголю и кое-где еще в частной переписке все эти мотивы сменяются затем совершенно иными звуками, страстной лирикой трибуны, – но ни в каком случае нельзя поручиться за то, чтобы она была у Белинского окончательной; и недаром уже после письма к Гоголю, в 1848 году, он опять славит «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и «в отношении к внутреннему развитию России» считает царствование Николая I, «достойного потомка великого предка», т. е. Петра Великого, – «самым замечательным после царствования Петра». Цензура помешала бы Белинскому говорить, но она не мешала ему молчать. А он не хранил достойного молчания, – нет, он сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные каноны. Ему не нужно было с действительностью философски мириться, потому что он с нею вовсе и не ссорился. Умственно неуживчивый, он зато в общественном отношении был скорее консервативен. Вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений. Он их и продолжил; и лишь с известными оговорками можно признать, что не ими он кончил. Без ариадниной нити, т. е. без хорошей натуры, без инстинкта истины, он отвергал все оппозиционное только потому, что оно – оппозиционное, на этом основании нелепо осмелял было «полоумного» Чацкого и оскорблял свободолюбивые мечты. Так или иначе можно решать женский вопрос, но ни при каком его теоретическом решении нельзя, как это делал Белинский, утверждать, что «*женщина-писательница с талантом жалка*», что *une femme émanicipée* переводится на русский язык нецензурным словом, которого «употребление позволено в самых обширных словарях», и что «*женщина-писательница*, в некотором смысле, есть *la femme émanicipée*». Какими бы причинами все это ни освещать и объяснять, такие мысли, и речи, и выражения (мы приводим не самые грубые из них) все равно неумолимо свидетельствуют о внутреннем мещанстве, о прирожденной ограниченности, об отсутствии нравственного изящества и благородства. Не в шутку, а совершенно серьезно говорит в одном месте наш критик, что «горе тому отцу, который не высечет больно своего недоучившегося сына за его первые стихи, а всего пуще за его первую повесть» («хороших розог» желает Белинский и «неистовым» писателям, как Жорж Санд, Бальзак, Дюма, Гюго).

Пренебрежительно, в тоне мнимого аристократа, отзывается он о людях с бороною, о крестьянах, о простолюдинах – об этом обществе, «для которого существует Марьиная роща»; он вышучивает малороссийскую литературу, он презирает славянские народности. Всего этого можно было бы не ставить в строку обывателям и специалистам пошлости, но *quod licet bovi, non licet Jovi*¹ и простительное для ведомых непростительно для вождя.

Замечательно при этом, что если в своих гражданских воззрениях Белинский все-таки пережил эволюцию вверх, если в данной области он прогрессировал и в конце своей, к несчастью, короткой жизни отрезился от многих предрассудков и сумел критически отнестись к русской действительности, то в сфере философской, как мыслитель и критик, он, наоборот, обнаружил падение. Здесь, эволюционируя, он регрессировал. И не только беспримерной податливостью своих летучих воззрений мог бы стяжать он себе данное ему выше имя Виссариона-Отступника: нет, на него имеет он право еще и потому, что, как Юлиан, он тоже отступил от истины. Ведь обычная и естественная тропа ведет людей от материалистического отрочества, от наивного утилитаризма гимназических дней – выше и дальше; Белинский же, рассудку вопреки, наперекор стихиям, органичности назло, проделал дорогу обратную и уронил приобретенное уже было достояние идеализма. Как мыслитель и критик он был взрослым сначала, а детство пережил потом. Он начал хорошо, а кончил дурно. Он начал глубокомысленно – отзвуками Шеллинга, Фихте, Гегеля; и пусть брал он философию из третьих рук, уже преломленной и ослабленной, пусть его терминология была неотчетлива, невыдержанна и много вообще проявлял он логических недочетов, – все же, благодаря тому что он умел заражаться идеями и с помощью литературного таланта заражать ими других, он был уже близок к тому, чтобы построить русскую критику на единственно законном эстетическом фундаменте. Как это видно, например, из прекрасной рецензии на книгу Дроздова «Опыт системы нравственной философии», он понимал тогда всю ценность умозрительной философии и всю недостаточность эмпиризма; он принимал тогда автономную природу искусства, его самодовлеющее и бескорыстное значение; он воодушевленно провозглашал истину, что «поэзия не имеет цели вне себя». Он высказывал тогда много верных и ценных мыслей о сущности красоты, о первенстве формы, о творческом элементе критики, о том, что морализм вредит искусству, о том, что художественное произведение нравственно само по себе, о том, что надо отделять в писателе художника от человека и не проникать любопытствующими глазами в его внешнюю биографию. Он запрещал требовать от писателя отзывчивости на социальные вопросы, на тревоги исторического момента; он сознавал, как это безразлично для искусства, жил ли Гёте при дворе или нет; он тогда, сопоставляя «Идеалы» Шиллера с «Нереидой» Пушкина, имел смелость и тонкость сказать ту правду, что «глаза, одаренные ясновидением вечной красоты», даже и не станут сравнивать этих двух произведений и все свое восхищение отдадут зеленым волнам, лобзающим Тавриду... Еще в 1840 году, в статье о Менцеле, Белинский по отношению к искусству стоял на такой правильной и широкой дороге, выказал серьезное постижение эстетики, установил, что «искусство не должно служить обществу иначе, как служа самому себе; пусть каждое идет своею дорогой, не мешая друг другу». Но в конце того же года он эту статью назвал уже «гадкой» и с ее бесспорной эстетической высоты невозвратно опустил в роковую ересь. Белинский направил решительные шаги в сторону вульгарного утилитаризма. Впрочем, решительность его всегда была мимолетной, и на этот раз тоже у него осталось кое-что от прошлого, мелькали отблески прежнего эстетизма, мерцание покинутой истины; но в общем и главном критик искусства покорило искусство эпохе и ее социальным потребностям, лишил его свободы, обрек его на подчиненную и служебную роль. «Наш век враждебен чистому искусству, и чистое искусство невозможно в нем... теперь искусство не господин,

¹ Что позволено быку, то не дозволено Юпитеру (*лат.*).

а раб: оно служит посторонним для него целям», – так писал он в статье о «Тарантасе» в 1845 году; были потом у него обычные уклонения от этой тупой прямолинейности и обычные новые возвращения к ней, но основная мысль Белинского в завершающий период его работы, в пору его зрелости, мысль, бегущая через все его тогдашние зигзаги, – это порабощение искусства. Белинский перестал быть философом. Павел обратился в Савла. Не уберегли его, не спасли Шеллинг, Гегель, Ретшер, и после них, уже пройдя их школу, по крайней мере, преддверие к их мудрой школе, освобождающей и глубокой, он предпочел ей духоту и теснины. Это он сказал, что Пушкин «принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта». Это он, боясь оказаться не передовым, не просвещенным, робко соблюдая кажущиеся требования современности, временное поставил над вечным, изменил искусству, Нереиде, Пушкину и от имени умных людей заявил, что «каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых неразрешимых вопросов», – заказанная скорбь!.. Это он расчистил дорогу публицистической критике, пагубному течению тенденциозности; законным сыном Белинскому приходится Писарев, и эпигоны последнего – это их общие потомки, и до сих пор не прекратившееся ребяческое разрушение эстетики – это их общее дело, общее наследство...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.